

Лидия САВЕЛЬЕВА

г. Петрозаводск



Ростки сознания

С какого времени я себя помню? Говорят, в воспоминаниях Льва Толстого сохранилась даже грудь кормилицы. У меня же и намек нет на такую гениально глубокую память. Сколько бы ни копалась в калейдоскопе своей памяти, совсем не помню переезда нашего малого семейства (папа, мама, брат и я) из Москвы в Полтаву летом 1939 года. Казалось бы, железнодорожный переезд и полная смена быта должны были поразить двухлетнего ребенка, но ничего подобного. Однако кажутся неслучайными, даже показательными для собственной психики те эпизоды, с которых я начала осознавать себя в этом мире.

В тумане прошлого почему-то проглядывают два самых ранних сюжета, если можно так сказать, с моим участием. Причем в таком хронологическом порядке.

Первая сцена – я сижу на своем высоком двухэтажном стуле (папа прикрепил к обычному стулу маленькое самодельное креслице с перекладиной спереди, – его я помню очень ярко, вплоть до фактуры дерева на сиденье большого

стула и выщербленной щепки на одном из перилец, а потому предполагаю, что видела его потом уже в чужом пользовании); сижу почему-то в той комнате, где были хоры, то есть внутренний балкон, и вход на чердак. За общим столом около большого окна сидит вся большая-большая семья, а мой высокий стулик стоит крайним справа. Я с удовольствием улетаю любимые вареники с вишнями, но, пользуясь тем, что множество взрослых занято разговором и на меня не смотрит, самые краешки вареников, которые не так вкусны, как начинка, украдкой бросаю под свое креслице, на сиденье стула. Причем прекрасно осознаю, что, во-первых, совершаю запретное действие, а во-вторых, что любой из взрослых легко обнаружит эти мои огрызки на сиденье большого стула подо мной. Тем не менее продолжаю шкодить, сознавая, что мне попадет. Было мне, судя по этому полтавскому детскому стулику, не менее двух лет, но не более двух-трех месяцев сверху (с учетом сезона вишен).

Размышляя об этом эпизоде, не устаю задаваться вопросом: что же меня так впечатлило, что

помню эту ситуацию до сих пор? Все-таки, думаю, проклюнувшаяся совесть: ведь делаю что-то плохое. Однако стыда совсем не помню. То ли стыд развивается позже, то ли совесть и стыд вообще не строго связанные вещи...

Вторая сцена – в саду. Я сижу на корточках на грядке справа от центральной яблони (белый налив) – впоследствии нашей главной кормилицы в течение десятилетий. Грядка – с зеленым луком, неполая, сильно заросшая высокой травой. Я спокойно «пасусь» в саду, пощипывая любимый лук. В это время меня зовет мама: «Лиди-а! Лиди-а!», зовет давно и все настойчивее и настойчивее. Не откликаясь, я начинаю быстро рвать стрелки лука вместе с травой и жадно запихивать в рот: «Скорее, скорее!» Помню свой тугой кулачок, полный зелени. При этом опять понимаю, что делаю нечто нехорошее, мне даже невкусно, поскольку травы так много, что она перебивает вкус лука, но я не могу оторваться и нахально не отвечаю на призывы. Что было дальше – не помню, но вкус травы и сейчас ощущаю вживе при одном воспоминании. Опять задумываюсь: почему эта сцена зацепилась в сознании? Факт непослушания – что это, первое проявление воли, самостоятельно принятого решения?

Есть еще очень раннее воспоминание, как кажется, тоже в чем-то соотносимое с этими двумя.

Я и Коля (брат, старше на 3 года) лазаем под стоящий на стульях гроб с цветами и тут же быстро оттуда вылезаем. Чуть ли не наперегонки. Никакого тяжелого чувства от смерти и горя в доме совершенно не помню. Происходит это в большой и залитой солнцем комнате с натертым паркетом, то есть, как я теперь понимаю, в бывшем зале – с камином и изразцовой печью. Сейчас не могу объяснить, почему и сколько времени гроб стоял не на столе, а на стульях. Откуда явилась наша такая неуместная резвость? Неужели взрослые так нас оберегали и скрывали свою скорбь... Ведь гроб этот мог принадлежать только одному человеку – моей прабабушке Марии Александровне, о которой сказать, что мои родители очень любили ее, – это ничего не сказать. Для моей матери это был самый близкий человек. Для меня она была крестной и любимой «старенькой бабушкой». Для моего отца, сравнительно недавно вступившего в семью (а это, как я теперь понимаю, было тогда для него гражданским поступком), была очень уважаемым личным другом, общение с которым началось еще в годы его работы в Москве, точнее – в Отраде, бывшем подмосковном имении графа Орлова-

Давыдова, ныне попавшем в черту города. В родовом альбоме сохранился его показательный экспромт в день своей свадьбы:

Он предками был не очень тучен:

Генеалогические книги весьма тощи.

*Но он расхрабрился – и у бабушки внучку,
Лучшую внучку к себе утащил.*

Поскольку Мария Александровна умерла 9 сентября 1939 года, то я тогда была в возрасте 2 года и 3 месяца. Совсем не помню, чтобы нас кто-либо останавливал или упрекал в чем-то...

Но, возможно, и этот блик памяти мелькает как более позднее раскаяние за глупую и неуместную резвость.

Так как же рождается самосознание? В проявлении собственной воли? В противостоянии родительским запретам? Хотелось бы думать, что оно рождается с *появлением совести*. Интересно проверить по отблескам детства в памяти других людей...

Первые радости

Именно с подачи других людей знаю, что росла более всего «папиной дочкой», поскольку он вообще всегда любил возиться с малышами. Говорят, что, заслышав его шаги, я сразу комично впадала в рев в ожидании его вопроса: «*Кто мою кукушечку обидел?*» В ответ он слышал мой скулеж о всех крупных и мелких обидах со стороны многочисленного разновозрастного семейства. Папа активно выражал сочувствие и все жалобы принимал себе на грудь, утешая меня. В заключение отчета я садилась за стол вместе с ним и в который раз уплетала обед или ужин, как будто лишь «бежала через мосточек, ухватила зеленый листочек», как та коза-дереза, которая чуть позже очень возмущала меня своим бесстыдством. Вообще, плохим аппетитом никогда, мягко выражаясь, не страдала и любила составить за столом компанию любому опоздавшему. Например, Марине – моей младшей тетке с маминой стороны, которая нас с Колей очень любила и с нами без конца возилась. Сохранились фотографии с нею и с моими перевязанными мишками, пупсиками: видимо, ее медицинская специализация воплощалась в моих игровых фантазиях. Но именно Марина ревниво усматривала большую отцовскую склонность к «кукушечке» по сравнению с Колей, хотя моих обоих родителей это

только смешило. Сейчас думаю, что на Марину влияло более всего не совсем педагогичное поведение нашего отца: уж слишком шумно и часто восторгался он моей ранней бойкостью, с которой я сдвигала стулья для «сцены», карабкалась на них и громким четким голосом, еще не выговаривая всех звуков, зато копируя отцовский ритм и интонации, шпарила (папино выражение) стихи А. Барто, К. Чуковского, отрывки из Пушкина и т.д., явно рассчитывая на аплодисменты слушателей. В это время наш бедный Колечка, который тоже знал все это, забивался под стол от смущения и стыда за мое вызывающее поведение. Как думаю сейчас, в этих случаях отца просто до крайности радовали видимые результаты своих режиссерских трудов.

Яркое воспоминание, которое почти точно можно датировать: я радостно оживлена, нарядно одета и, весело подпрыгивая, иду с тетей Ирой (моей «средней» тетей) по Первомайскому проспекту Полтавы к извозчику, который стоит возле Памятника.

Роль этого полтавского памятника в моем детстве аналогична роли памятника Пушкину в детстве Марины Цветаевой. Мера длины – «близко, как от нас до Памятника»; мера высоты – «высокий, как Памятник»; мера красоты – «красивый, как лев на Памятнике». Это примечательная колонна розового гранита, на ее постаменте – бронзовая фигура разъяренного льва, закрученный хвост которого уже в моем подростковом детстве был заметно отполирован детскими задиками (любимый фотоинтерьер!), вокруг памятника на четырех гранитных угловых подставках – тяжелая чугунная цепь, символизирующая границы Российского государства, охраняемые бдительным львом. Вся композиция была воздвигнута в 1909 году на площади перед широким бульваром и посвящена военному коменданту Полтавы Келину времен битвы со шведами в ознаменование 200-летия победы. Улица наша (точнее – бульвар) носила раньше название Келинской, но где-то перед войной, к сожалению, была переименована в Первомайский проспект.

И как же мне не радоваться, если мы вдвоем с тетей Ирой отправляемся в дальнее путешествие, да еще и «на извозчике» – в роддом за тетей Галей и ее новорожденным сыном. Поскольку Сережа появился на свет 22 июня 1941 года, то это самый конец месяца, в начале которого мне исполнилось 4 года. Сейчас понимаю, почему нас только двое встречающих. Ведь родители и все другие взрослые уже на окопах. Но я,

конечно, не думаю ни о чем печальном, радуюсь розовому маркизетовому платью, которое, как хорошо запомнила, сшила тетя Галя, даже помню кокетку из другой материи, в розах, и с удовольствием облизываю брикет мороженого, купленного тетей Ирой в маленьком ларьке по дороге к извозчику (на этот счет ее уговорить было необычайно легко). Легко вскарабкиваюсь на подножку открытой черной кожаной (?) коляски и в этой тряской и подпрыгивающей «кажете», запряженной рыжей лошадей, с большим нетерпением жду встречи с двоюродным братиком. Помню, как мы, стоя у трехэтажного серого здания, громко перекрикивались с тетей Галей в окошке наверху. Но затем я увидела только маленький сверток на руках у похудевшей и непривычно серьезной тети Гали. Хорошо помню свое разочарование: я ждала мальчика, пусть маленького, а это какая-то невыразительная кукла в конверте.

Очень скоро совместное купание и кормежка этой «куклы» молоком из соски сделают ее для меня самой любимой, ни с чем не сравнимой игрушкой, и все последующие пять лет совместной жизни пройдут под знаком самой горячей любви к трогательному голубоглазому малышу с совершенно льняными кудряшками.

Его сразу же положили в плетеную прямоугольную корзину, видимо, выращившую не одно поколение грудничков в жизни быковской семьи, и первоначально поставили почему-то рядом с роялем в проходной комнате. Рядом у стенки стояла низенькая кушетка, на которой спала тетя Галя. Сразу же выяснилось, что у нее от стресса пропало грудное молоко, но с помощью бабушки наладили питание малыша – разбавляли кипяченой водой парное молоко нашей черно-белой козы Мики, родной дочери старенькой рыжей козы Галки. До сих пор хорошо помню, какие травы любила Мика. Это листья кашки (клевера), если они сочные. И еще одну траву – высокую, прямую, желательно непыльную, надо было нам с Колей запастись для Мики, чтобы, как нам сказали старшие, молоко ее было вкусным и понравилось Сереже. Это козье лакомство обычно росло у самых заборов, и в поисках его мы отправлялись в дальние рейды по всему околотку. К стыду своему, только много позже узнала, что эта травка называется тимофеевкой и считается чуть ли не самой ценной у луговодов.

Все заботы о маленьком Сережике, если мне его доверяли, были только в радость. Всегда с нетерпением ждала его дневного пробуждения.

При этом хорошо помню, как лет в пять по-серьезному размышляла, какие вареники лучше всего повесить ему на нитке: из вкусной без овсюков муки с картошкой или из муки с колючими овсюками, но со сладкой начинкой из печеной сахарной свеклы. Проснувшись, малыш сразу тянул что-то в рот, что очень меня умиляло. Когда же он научился ходить, то первое время донашивал мои платья и сарафаны и его часто принимали за девочку, чему он очень смешно сопротивлялся. Мою маму он тоже долго называл мамой, а тетю Галю – так же, как я. В два-три года он обнаружил такую любознательность по освоению окружающего пространства, что за ним было не уследить: косолапил в дальние дворы, где его не знали, и несколько раз незнакомые люди приводили его к рыдающей и ломающей руки, видимо по дворянскому обычаю, бабушке.

Кончилось ее изобретением: вышивкой адреса на специальной матерчатой табличке: *Сереза Данилевский, Полтава, Первомайский пр., 27*. Теперь, после очередного его исследовательского путешествия, эту табличку к каждой его одежке прикрепляли обязательно.

Еще одно яркое «событие» зацепилось в моей детской памяти как необыкновенное чудо. Может быть, потому, что в нашем доме обычно не праздновали дни рождения. Праздниками были именины, особенно бабушкины, поскольку она была в свои 54 года, безусловно, капитаном нашего семейно-родового корабля с непререкаемым авторитетом (в том числе и у соседей, так как очень часто бывала их душеприказчиком) и характером командующего целой флотилией. Такой характер был выкован 22-летней борьбой вдовствующей матери пятерых детей за их выживание и право учиться. О них (именинах Софии) расскажу позже, а вот именины моего любимого целлулоидного пупса с израненной (расплющенной) ногой мы однажды отметили пиром, в ходе которого в прямом смысле «по усам текло» и даже в рот попадало. Дело в том, что в своих интендантских экспедициях по заготовке козых кормов мы с Колей, в частности, обследовали немецкое кладбище за нашим садом, – кладбище, которое плавно переходило в огороды, сливаясь с ними. И вот там, в зарослях тимopheевки, мы неожиданно наткнулись на ... чудный большущий арбуз! Его еле-еле удалось дотащить домой в Колькиной рубашке, которую держали с двух сторон за перевязанные рукава. Вот тут-то мы и созвали гостей в нашем саду под липой. До сих пор помню, что с Колиной (стар-

шей) стороны пупса почтили Ленька Стеблей и наша Галочка, приемная дочка тети Иры, а с моей стороны – Лида Окунева и Алка Буряк, обе наши соседки. Арбуз оказался великолепный – красный и сладкий. Правда, семи-восьмилетние мальчишки ужасно покромсали его своими ножиками. Но голодная публика уплетала счастливую находку взахлеб, прямо с косточками, утираясь и облизываясь, и была очень благодарна. Помню при этом, что Галочка тщетно пыталась всех нас воспитывать, а Алла принесла настоящий маленький бинт в подарок моему пупсу для его больной ножки.

Обычно говорят, что детство – это «Потерянный рай», имея в виду не только блаженное состояние полной безответственности и внутренней гармонии, но и гармонии внешней – с окружающей средой прежде всего. Но мой рай был взорван войной, настоящим адом, который предстал в виде голода, холода, оккупации, страхов за близких и страха даже собственной смерти.

Первые потрясения

Самое раннее воспоминание о войне – это непривычно громкий, строгий и скорбный голос диктора радио, на весь наш очень широкий Первомайский проспект со старым бульваром посередине, состоящим из вековых ясеней, лип и каштанов, и толпа плачущих людей около большого громкоговорителя на столбе, рядом с Памятником. Сейчас не могу сказать точно: был ли это *первый* день войны или в детской памяти отложилось яркое впечатление от *одного из последних тревожных сообщений*, которому я стала свидетелем. Тогда я держала папу за руку, а он, помню, очень крепко сжал мою, чтобы я потерпела и не мешала ему слушать.

После этого месяца через два немцы заняли Полтаву. Это было жарким днем, и я очень хорошо помню, как после ночных громовых раскатов артиллерии огромный, крытый брезентом грузовик въехал прямо в наш сад, повалив плотный дощатый забор и раздавив собой высокие цветущие кусты георгин. Из грузовика выскочило множество немецких солдат, которые тут же, никого не стесняясь, разделись догола и стали мыться, поливая друг друга водой из каких-то больших бочек, привезенных с собой. Помню свое детское изумление этими голыми взрослыми, которым совсем не было стыдно и для которых не существовали остальные люди – женщины, дети.

Должна сказать, что эта сцена настолько потрясла меня, что еще и через 10-12 лет, в самую острую пору холодной войны с американцами, она мне периодически снилась, но уже как ночной кошмар, как жуткое начало новой войны: мирный цветущий сад и вдруг – раздавленные цветы, даже целое море цветов, под безжалостными колесами грузовиков, и наглые суеязящиеся и смеющиеся голые люди, быстро-быстро говорящие на непонятном языке.

Наш дом в прошлом принадлежал мелкопоместной дворянке Анне Васильевне Гоголь, незамужней сестре писателя, воспитавшей пятерых детей рано умершей их сестры Елизаветы. Был он очень большим, краснокирпичным, с очень высокими лепными потолками, большими окнами, прекрасным дубовым паркетом и двумя выходами: один – во фруктовый сад, другой – во двор, к огромному столетнему ясеню и маленькому побеленному домику, когда-то давно построенному для дворовых слуг. Под нашим домом находился большой кирпичный подвал, размером комнаты с две-три, наверху – огромный, во весь дом, чердак высотой в человеческий рост, а посередине и более. Наша большая патриархальная семья (моя бабушка и ее три замужние дочери с семьями) до войны проживала в 10 комнатах этого семейного ковчега, сравнительно недавно доставшегося ей по наследству от матери – Марии Александровны, жены ранее умершего гоголевского племянника Н.В.Быкова и внучки А.С.Пушкина. Моей крестной она стала в результате тайного крещения, очень рискованного для моих родителей, в 1937 году в Москве – месте ее постоянного проживания с семьей младшей дочери.

Даже в чисто материальном описании нашего дома нельзя не подчеркнуть, безусловно, главный предмет его интерьера – рояль, но он был еще и реальным воплощением «души дома», за которым стояла внутренняя драма и вся жизнь моей бабушки, да и трагическая судьба всех несбывшихся надежд. Дело в том, что даже в музыкальной семье не только ее голос, сильный и глубокий, но и абсолютный слух, и общая одаренность с ранних лет приковывали к себе внимание и обещали очень много. При этом лучшие педагоги города, которые стали работать с ней в дворянском пансионе, отмечали ее необыкновенное трудолюбие и серьезность. Они сумели подготовить 17-летнюю выпускницу так, что она и по вокалу, и по фортепиано прошла конкурс в 40 претендентов на место и поступила в Московскую

консерваторию. А вот тут ее и поджидало страшное разочарование. Накануне отъезда отец, человек традиционных, даже консервативных взглядов, наслышавшись дурных отзывов об общежитии консерватории и не сумев срочно найти в Москве семью, которой можно было бы доверить его любимую и скромную Сонечку, категорически запретил ей ехать учиться. Разумеется, он убоился полубогемной жизни «эмансипэ», как он выражался, угрожающей его дочери. Чувствуя себя виноватым, прадедушка поклялся немедленно выписать ей из Петербурга лучший по тому времени рояль и, несмотря на финансовые трудности все возраставшей семьи, оплачивать ее дорогое обучение в частном музыкальном училище, да еще с перспективой учиться у замечательного педагога вокала Марии Александровны Денисенко, получившей образование в Италии. Впоследствии так все и случилось: был из Петербурга доставлен рояль марки «Diderichs Freres», голос бабушке ставила М.А.Денисенко, которая, в частности, потом в 20-е годы репетировала с Иваном Семеновичем Козловским в Полтавском музыкально-драматическом театре. Там с ним пела и моя бабушка. Кроме того, она с большим успехом солировала в Полтавской хоровой капелле Александра Васильевича Свешникова, часто и с удовольствием пела в церковном хоре и, конечно, как до, так и после революции любила участвовать во всех благотворительных концертах. Поскольку бабушка, овдовев в 32 года и потеряв за 4 месяца не только мужа, отца и все права состояния, осталась только с чемоданом нот, то рояль в нашем полтавском доме фактически был ее единственной личной собственностью, не унаследованной от матери. Помню, она не раз повторяла: *«Какое счастье, что Сергей (это будущий мой дедушка) купил мне на свадьбу пианино, ожидавшее меня в Оленинском! Мой бедный рояль избежал трагической участи!»* Бабушка имела в виду поджог усадьбы Данилевских анархистами, всего лишь через три месяца после похорон умершего от инфлюэнцы мужа, которого крестьяне очень любили и оставили при уже советской власти управляющим бывшим собственным коннозаводом (перед этим он окончил Московскую Петровско-Разумовскую академию). Здесь я вынуждена сделать отступление, подключив одно из самых ярких впечатлений детства моей семилетней мамы (конечно, передаю не дословно, но суть), когда они бежали от опасности в полную неизвестность. *Теплая майская ночь, полное*

безлюдье, ярко светит луна. Дорога вьется меж холмов и тянется через луга куда-то далеко к лесной полосе. Мама и мы, все дети, едем в тряской телеге на соломе, впереди – дворник Тихон, очень заботливый и обеспокоенный. Саша и Ира лежат, у них скарлатина. Рядом трясется и очень мешает твердый чемодан. Но далеко вокруг в звонкой тишине под пение кузнечиков и мерный скрип немазаной телеги разносится мощное контральто мама «Гори, гори, моя звезда...»! Это воспоминание своей мамы хорошо запомнила и я, так как оно замечательно характеризует мою бабушку, ее характер и музыку в роли главного утешения ее жизни.

Единственного сына моей бабушки Сашу война застала в Ленинграде, откуда он с началом войны ушел добровольцем в ополчение и попал в блокаду, а жену на 8-м месяце еще до начала войны отправил рожать в Полтаву к своей матери. Тут-то она, аспирантка биофака Ленинградского университета, и разрешилась сыном, как раз в день объявления войны. К этому времени еще бездетная младшая дочь бабушки Марина, а перед этим и ее муж дядя Ваня ушли добровольцами на фронт как врачи. Помню, как страшно рыдала бабушка и в ужасе была вся наша семья, когда прошел слух о гибели под бомбами эшелона с госпиталем, в котором лечила раненых наша Марина. О ее судьбе мы ничего не знали почти три военных года.

К моменту фашистской оккупации, а это были два долгих-долгих года, в нашем несколько опустевшем доме остались четыре женщины (бабушка, две ее дочери, невестка Галя) и четверо маленьких детей, включая новорожденного Сережу – вынужденного питомца нашей чудо-козы Мики. Мужчин было двое: мой 32-летний отец, который имел бронь и «твердое» обещание пединститутского начальства об эвакуации семьи в случае угрозы прорыва фронта, а пока же он, как и другая моя тетья – Ира, целые дни проводил на окопах, строя противотанковые рвы на подступах к Полтаве. Вторым мужчиной был 36-летний тети Ирин муж дядя Антон, в довоенной жизни землемер, ставший при немцах сапожником и тем самым, несмотря на тяжелую форму туберкулеза, целый год, до самой своей кончины, через силу работавший на все наше патриархальное семейство (вот откуда до сих пор хорошо понимаю технологию ручного изготовления сапог!). Когда фашисты заняли Полтаву, прорвав ее оборону с одной стороны, мой отец и две тетушки были на окопах где-то с дру-

гой стороны. Отец пробрался домой ночью и, не показываясь нам, детям, вынужден был вместе с соседом (это был Иван Яковлевич Стеблій, молодой учитель) прятаться в подвальном отсеке, имевшем потайной выход в сад. Почти сразу же наш дом слишком приглянулся немцам, и трое офицеров стали в нем на постой.

Надо сказать, что обстановка дома – портреты и старые фотографии, книги, ноты, картины, иконы, рояль, остатки старинной мебели и прочее – этим немцам нравилась и они даже проявляли определенную лояльность к его обитателям: помню, как один раз я получила конфету в виде столбика круглых розовых леденцов; как солдат с обвязанной шеей показывал мне печатную машинку, видимо увидев, что я ею заинтересовалась. По рассказам тети, когда я, голодная, без спроса схватила с подводы, привезенной постояльцами, кочан капусты и стала его грызть, увидевший это офицер не без брезгливости заметил, что она грязная. На что гордая ленинградская тетушка по-немецки сказала, что это у меня просто острая форма авитаминоза.

Лояльность одного немца, интенданта по имени Коннон (в довоенное время он был инженером-технологом на мясокомбинате в городе Франкфурте), простиралась так далеко, что он иногда приносил из военных припасов какие-то продукты (например, свиные обрезки, крупу), видя нашу нужду и явно нас подкармливая. Позже по его рекомендации маму и тетю Галю как владеющих их языком взяли посудомойками в немецкую столовую в доме, расположенном поблизости. Кстати, это огромное трехэтажное здание с двумя флигелями, очень привлекательное в архитектурном отношении, живо и по сию пору. Оно было известно в Полтаве как Дворец Кочубея, до революции там находился Институт благородных девиц, в котором училась моя бабушка, в советское время там помещался строительный институт всесоюзного значения, фашисты же приспособили его под свой генштаб. Именно поэтому наши летчики все время бомбили этот квартал, пытались попасть во вражеское гнездо.

Хорошо помню бомбежки. Сначала выла сирена, предупреждая о них. В это время каждая семья из ближних частных домов решала, куда бежать прятаться. Как я сейчас понимаю, было три выхода: или скрываться в норах, которые почему-то индивидуально копали на глинистых склонах огромного холма, на котором был расположен наш район (соседи, но не наша семья);

или спускаться в подвал под каменные своды нашего самого большого дома; или же пересидеть в бомбоубежище, которым считался большущий подвал разрушенного молокозавода. В этом последнем случае каждый в нашей семье нёс заранее известную собственную поклажу. Например, я должна была брать с собой раздвижной холщовый стульчик, мой брат – подушечку и рыжее одеяло, бабушка – свой приготовленный ридикуль с документами, икону Спасителя и столетнюю куклу Любиньку. Ее помню прекрасно, как дивную, вожденную награду за примерное поведение: прелестная фарфоровая головка была пришита к тельцу, по моде XIX века набитому волосами, в этом случае Софьи Александровны Пушкиной-Ланской, одетому в кружевное белое бальное платье на голубом атласном чехле. Бабушка куклой очень дорожила как памятью о собственной бабушке-тезке. К тому же эта историческая кукла замечательно отвлекала детей во время налетов. Даже моя двоюродная 13-летняя сестра Галочка проявляла к ней большой интерес, а Коля, помню, кричал: «Спрячь Любиньку скорее, бабушка, а то ее ранят!»

Жители нашего двора – человек 20 соседей с детьми из рядом расположенных частных домиков – чаще всего собирались и бегом бежали через пустырь, то есть сильно разбомбленный молокозавод в его сохранившийся подвал, и мы сидели там в страшной сырости, притом среди голодных крыс. Если мы не успевали, то оставались в собственном подвале. Один раз ночью я почему-то выскользнула из него и увидела ослепительно освещенное небо в прожекторах и ракетах, но эта красота грозила гибелью (мне это постоянно твердили, так как, сонная, я ныла и не хотела идти в бомбоубежище, хотя Колька, напротив, страшно боялся, торопил меня и плакал уже по другой причине), – с тех пор я не люблю, даже не терплю салюты. Дважды бомбы попадали в наш сад, причем один раз в метрах пяти-шести от дома, обнажив в глубокой воронке подземные ходы времен Петра I, на которых, как оказалось, стоял наш дом. Тогда обвалился балкон дома, но никто не пострадал (наверное, сидели в «общественном» подвале). Еще более опасный случай произошел позднее, когда наша семья сбилась в кучу в коридоре, в центре дома. В это время бомба попала в огромный, в два взрослых объёма, ясень, росший во дворе, и в часть маленького домика, где под обломками потом откопали мою любимую подружку Лиду Окуневу вместе с ее мамой. По счастью, они

спаслись, всего лишь... залезши под кровать и накрывшись подушками, только Лидины ноги оказались в страшных ожогах. Я же помню, как из моих длинных волос, несмотря на мои отчаянные вопли, с трудом вытаскивала штукатурку теть Галя. Куски корней и древесины ясеня потом находили в двухстах и более метрах за нашим садом, были выбиты стекла нижнего этажа детского дома... В тот раз был разрушен целый большой угол нашего дома, где особенно пострадала бывшая комната дяди Антона, с потолков попадали лепка и штукатурка, поотбивалась изразцовая плитка на камине, а самое ужасное – отошла наружная стена в той большой комнате, бывшем зале, где жили мы с мамой. После этого мама много лет только и занималась тем, что заделывала тряпками и глиной огромные трещины, каждый раз беспокоясь, чтобы наше жилище не развалилось, как карточный домик.

После этой бомбежки долго еще во дворе, загораживая дорогу, валялся огромный толстый ствол ясеня, ожидая своей очереди на ручной распил соседями. По этому стволу мы бегали, демонстрируя физкультурные навыки и достижения. Не могу в связи с этим выбросить из мозаики памяти эпизод, когда ночью мы с Колей, спокойно возвращаясь из бомбоубежища, тренировали равновесие и ходили по этому дереву с поклажей на голове, еще не дойдя до порога дома. В это время я услышала приглушенный смех и что-то вроде поцелуев. «Что это?» – спросила я Колю. «Да это Алкина мать с фрицем», – равнодушно ответил он. Почему это засело в памяти 5-летней девочки, сейчас плохо понимаю. Но подозреваю все-таки, что уже тогда была потрясена предательством.

А ведь это были наши самые близкие соседи. Их сад и наш сад разделялись только низеньким символическим забором, а ночью в саду курил Аллин дед – старик Буряк, или *Титьки*, как его называла Алка.

Между тем наш отец сначала прятался в дальней каморке подвала с выходом в садовый люк (в кустах смородины), с наступлением же зимы – в сарае на сеновале.

Все время семья страшно боялась за него, так как немцы были рядом, да и некоторым соседям нельзя было доверять, так что тайна его пребывания в любую минуту могла быть раскрыта. И вот как-то раз, уже после смерти дяди Антона, Коннон подошел к моей маме и сказал, что он понял, что ее муж где-то рядом, и что, желая нам всем добра и предупреждая угон в Германию, он сове-

тует ему немедленно выйти и срочно зарегистрироваться официально в качестве хозяина какой-нибудь ремесленной лавочки, пока это не дошло до эсэсовцев. Эсэсовцев все немцы сами очень боялись. Еще недавно мы с моей ленинградской тетушкой Галей вспоминали, как рыдала и кричала в истерике одна немка из женского батальона, несколько дней жившая в нашем доме, она хотела к своей «муттер», домой, «нах хауз», а Коннон ее страдал: «Тише, тише, **эсэс!**»

Как-то раз один эсэсовец ни за что застрелил нашего Тузика, безобидную черно-белую дворнягу, которую мы все очень любили и долго оплакивали, потом он же с револьвером гнался за бабушкой, посмевшей ему что-то возразить, выкрикивая «юдэ», видимо приняв ее внешность за еврейскую. Спас иконостас, перед которым бросилась на колени глубоко верующая бабушка.

Здесь нельзя не вспомнить, как один итальянский солдат, коловший во дворе дрова, сказал бабушке, загибая по очереди пальцы на руке: «*Сталин, Гитлер, Муссолини – капут... Карашо!!!*»

Вообще, бабушка, будучи женщиной общественного темперамента (кстати, это было результатом именно дворянского воспитания, поскольку все дореволюционные годы она занималась общественной благотворительностью и минимально – домом и семьей), рисковала очень часто.

Прежде всего она не смогла бросить на произвол судьбы 28 малышей соседнего, за забором сада, детдома, оставленного убежавшим в панике начальством. Вместе с верной санитаркой тетей Шурой Савченко (она потом еще долго жила с нами) бабушка, всего лишь музыкальный работник этого учреждения, приходивший до войны, как я теперь понимаю, на час-другой к этим малышам, вынуждена была сначала по максимуму отрывать от наших скудных садово-огородных и козых припасов, а потом – идти на поклон к немцам, взывая к их гуманным чувствам, а иногда и бесшабашно требуя какого-то продовольствия для маленьких брошенных детей. Ее религиозная настроенность очень часто ей помогала.

Один случай *божьей помощи* в острой, не терпящей отлагательства ситуации она любила вспоминать даже спустя многие годы. Однажды она спокойно развешивала какие-то вещи во дворе нашего дома. Неподалеку на солнышке сидел курил эсэсовец, на вид мирный. В это время прибегает, запыхавшись, незнакомая пожилая украинка (среди них, как оказалось, встречались националистки) и, возбужденно выкрикивая, по-

казывает руками: «*Скорише, скорисше, он там, у кущах бузку, за картоплэю, жид ховається!* (то есть прячется в кустах сирени)». Бабушка обомлела, эсэсовец кричит ей: «*Что она говорит? Что она говорит?*» И тут, как была убеждена бабушка, ее **Господь благословил, чтобы помочь несчастному**: «*Она говорит, что ее обворовали и вор побежал в ту сторону*». Эсэсовец равнодушно махнул рукой и остался сидеть развалившись.

Поскольку бабушку вызывали как русско-немецкую и русско-итальянскую переводчицу (итальянский, близкий хорошо известному ей французскому, она понимала и как музыкант, исполнявший многие итальянские арии), она знала больше других о проблемах и даже намерениях немецкого начальства. Так, она спасла двух женщин-врачей из расположенной напротив нас по Первомайскому проспекту инфекционной больницы, еврейскую национальность которых заподозрили немцы. Мой отец, замечательно рисовавший и вообще, как все признавали, очень «рукастый», подделал им паспорта, с которыми они бежали. И некоторым нашим русским пленным, которым разрешали работать на свободе, с ее подачи вовремя «нечаянно» оставляли в саду мужскую одежду и еду.

Кстати, о еде. С ней было очень сложно, ведь у нас в семье было 10 ртов! Конечно, сад, огород и коза Мика были огромным подспорьем, но этого было очень мало, особенно в первый год войны, когда возможности натурального хозяйства в городе еще не умели даже использовать. Например, наш сад в сентябре уже не плодоносил, за исключением орехов. Позже маме и тете Гале иногда доставались объедки из столовой, но это бывало редко, так как хозяйственные немцы учитывали все, сами откармливали животных и, разумеется, не допускали никаких хищений. Хорошо помню, с каким чувством я смотрела на измазанного молочной кашей малыша Сережу. По рассказам моей ленинградской тетушки, я изрекла: «*Когда у меня будут дети, они будут очень чистенькие*». – «*Что, будешь их часто купать?*» – «*Нет, я их буду облизывать*». После этого жившая с нами беженка из Киева, художница по куклам тетя Женя Васильева, поддразнивала меня стишком: «*И после варенья, и после конфеток Я буду облизывать всех своих деток*». Есть хотелось всегда, но, может, это я была такая обжорка? Тогда почему же наш Колечка, который, в отличие от меня, подхватывал все детские инфекции, в этой печальной ситуации отпечатался моей памятью... с высунутым языком: «*Ага-а! А я –*

больной, а я – больной!!!» Конечно, он радовался лишнему кусочку, тому, что семья сбивалась с ног, чтобы выменять ему, например, драгоценное яйцо, на которое я не могла не смотреть с вожделием. Мама потом рассказывала, как разрывалось ее сердце, когда она слышала мой рассудительный ответ брату: *«Хоть ты и больной, а хвастываться нечего».*

Кроме еды, была другая проблема – холод. Не было ни угля, ни дров, иногда приходилось жертвовать даже мебелью. Зимой мы спали в одежде и мучились от сырости. Мой отец после войны долго с улыбкой вспоминал анекдотическое легкомыслие все еще витавшей где-то в энтомологических облаках тети Гали, которая на семейном совете по этому поводу как-то предложила обменять часть собранных с огорода овощей на семечки: дескать, и топливо (шелуха), и еда (семечки), и приятное занятие одновременно.

Летом наших пленных иногда днем немцы вели строем по проспекту, тогда кто-то из соседских детей кричал: *«Пленные, пленные!»* Мы, остальные дети, хватили в подол и карманы все, что у нас было: помидоры, огурцы, яблоки, драгоценные картофелины, недозрелые орехи, какие-то носильные вещи, тряпки на портянки и пр., – и бежали через бульвар к ним, со смешанным чувством ужаса и надежды вглядываясь, нет ли кого из родных и знакомых. В большинстве случаев конвойные разрешали детям поменьше подходить и отдавать свои скудные подношения, но довольно часто попадались и настоящие звери. Мою подружку лет 5-6, Лиду Окуневу, когда она отдавала свою печеную тыкву пленному, один конвоир сильно ударил по плечу прикладом. Потом ее мать тетя Валя, простая, уже овдовевшая солдатка с хорошо подвешенным языком и сильным чувством справедливости, устроила в немецкой офицерской столовой истерику, свидетелем которой была моя мама. Мама очень боялась за нее, но в тот раз кончилось более-менее благополучно, видимо, еще не было частей СС.

Один немецкий солдат когда-то сказал маме: *«Мы... что? Простые солдаты, мы только выполняем приказы... Чего нас бояться? Мы такие же люди, как вы. А вот эсэсовцев бойтесь. Это – нелюди!»*

На всю жизнь запомнила я и то, что моим глазам нельзя было видеть, но близорукая моя мама, которая вела меня за руку, увидела этот ужас очень поздно. Это было довольно далеко от нашего дома, и я не помню, почему мы очутились

летом или ранней осенью на перекрестке улиц Гоголя и Октябрьской (Жовтневой), рядом с памятником Гоголю. В конце Гоголевского бульвара стояла виселица, а на ней висел мертвый, совсем молодой парнишка с какой-то надписью на груди (потом узнала: партизан). Совсем не помню народа вокруг, да его, кажется, и не было, только помню довольно длинные каштановые волосы парнишки под ветром. Мама сразу же дернула мою руку и повернула обратно, мы побежали по Гоголевскому бульвару к Пушкинскому перекрестку. Мама вся дрожала и сказала, что там сейчас будут стрелять, чтобы я ни о чем не спрашивала.

Да, наша наивная мама предполагала, что мы с Колей мало что понимаем в стрельбе. Но даже я, а не то что Коля, давно знала, что такое стрельбище, из чего там стреляют и главное – где и какой можно собирать порох, тот, который хорошо поджигается и легко взрывается. В своей слишком ранней вольнице (мама, бабушка, две тети – все заняты на каких-то работах, чтобы выжить и вытянуть детей, мы же предоставлены сами себе, да еще должны были следить за маленьким Сережей и отгонять на пастбище коз) мы, изучая окрестность, вышли на правое крыло гитлеровского генштаба, от которого узкая дорожка вела на огромное стрельбище со специальными, разрисованными кругами щитами, где упражнялись немецкие солдаты и офицеры. Правда, у нас хватило разума придти и бродить там после их утренних занятий, но задолго до вечерних. Видно, расписание приблизительно, но знали. Так вот очень скоро вся семья с ужасом наконец выяснила правду о нашем дневном времяпрепровождении. Дело в том, что у Колиных друзей-ровесников Ленки Стеблия и Ленки Буко очень ценились два вида пороха: черный мелкий, похожий на маленькие угольки одного размера (с его помощью костер горел и интересно искрился, за этим они любили наблюдать на некотором расстоянии), и рыжий, под названием динамитный, представляющий собой сантиметровые или полтора-сантиметровые, как будто застывшие кусочки клея, выдавленного из тюбика. Как действовал рыжий порох, мы не знали, но предполагали, что он хорошо взрывается. Мой умный и любознательный старший брат решил это проверить и для этой цели выбрал мой любимый никелированный маленький (на пол-литра) самоварчик, отобрав его из нашего игрушечного хозяйства. Как сейчас помню: вдвоем мы аккуратно набили серединку самоварчика бумажными

пакетиками вперемешку то с черным порохом, то с рыжим. Этим мы занимались перед входом в дом, сидя на скамейке. Не знаю почему, но, поднеся спичку к бумажке, Коля, по счастью, сразу бросил самоварчик в сени нашего кирпичного дома. Раздался страшный взрыв, на звук которого сбежалось несколько соседей по двору. В сених разрушилась каменная притолока, разорвало деревянную дверь в подвал и в клочья разлетелся сам самоварчик. Что нам было потом – здесь полное отключение моей памяти, но гулянье по стрельбищу и соби́рание пороха было строго-настро́го запрещено.

Как тут не вспомнить, что уже после войны нашему троюродному брату Жене Репетину, Колиному ровеснику, в Киеве при подобной же ситуации в 15 лет оторвало правую руку!

Среди самых страшных потрясений детской психики этого времени стала горестная судьба одного хорошо знакомого и любимого мною человека – тети Нади Воловик. Она была очень близкой подругой моей младшей тети, Марины, они вместе учились в мединституте и вместе работали в ближайшей от нас поликлинике, хотя жила она в Полтаве далеко от нас. Я ее очень любила с младенчества: любила забегать к ним с Мариной в поликлинику, где с интересом перебирала коробочки из-под лекарств, а подаренный ею для моих кукол никелированный кувшинчик с широким горлом в деталях помню и сейчас. Во время оккупации вдруг она, встревоженная, с другого конца города прибегает к маме: немецкими властями приказано всем евреям собрать самое ценное, продукты на три дня и явиться на биржу труда к такому-то часу. Что делать? В противном случае обещали расстрел. Надя, по матери русская, просила совета, и моя мама умоляла ее не регистрироваться как еврейке или, в крайнем случае, бежать. На всю жизнь запомнила мама, как плакала Надя, восклицая: *«Ну чем, чем я виновата?»* Но что могла моя мама? Только плакать вместе с нею. Однако тетя Надя, как и остальные ее собратья по несчастью, все же не поверила в нечеловеческую жестокость фашистов и пошла на биржу. Увы, это была хитрая ловушка: вместе с тетей Надей фашисты сожгли в подвалах Полтавского краеведческого музея *около пяти тысяч евреев!!!* Шел такой слух, об этом нельзя было говорить, но кто-то из немцев проговорился при бабушке. Помню, что я бегала за флаконом с нашатырем в аптечку на кухне, когда бабушка лежала в обмороке.

Много позже, когда мой брат женился на харь-

ковчанке, мы узнали, что точно так же, обманом, фашисты одновременно расправились с тысячами харьковских евреев и матерью нашей Зиночки. Ее мама 17-летней девчонкой влюбилась во вдовца-украинца, старше ее чуть ли не на 15 лет, к тому же имевшего сына-подростка. В знак протеста против этого брака от нее отказалась правоверная еврейская семья, и маленькая Зина росла в среде местных украинских рабочих. Когда немцы заставили *«зарегистрироваться»* ее мать, она спрятала свою кудрявую пятилетнюю дочку у соседей. Девочка выжила только благодаря их благородному мужеству и деятельной опеке, а ее юную 22-летнюю маму фашисты безжалостно расстреляли. Здесь не могу не упомянуть: когда Зине было уже 50 с хвостиком и ей предложили германскую компенсацию за трагически погибшую мать, она с негодованием отказалась даже думать об этом!

Когда мой отец легализовался, он, выпускник Московского Литературного института и преподаватель вуза, категорически отверг настоячивые предложения работать в немецкой газете и, как и советовал Коннон, открыл мастерскую по производству... детских игрушек из папье-маше. В ней работали пять знакомых ему женщин-художниц, включая ленинградскую тетушку и двух беженок из Киева. Одна из них, венгерка тетя Эдда, очень выразительные глаза которой в темных от голода глазницах отложились в моей памяти, на всю последующую долгую жизнь стала близкой подругой тети Гали и после войны – главным архитектором Киева, народным художником УССР, а ее, Э. Репринцевой, замечательные акварели с киевскими городскими видами и полтавскими подсолнухами, как и многими другими цветами, и сегодня тепло греют неотчуждаемый украинский сегмент моей души.

Кукольную мастерскую помню очень хорошо, потому что она постоянно меня манила как заветное, фантастически интересное место. На ближней улице Короленко нашли, видимо для аренды, две довольно большие проходные комнаты на 2-м этаже. В одной из них складывали заготовки: глину, гипс, груды разной бумаги, включая рваную, и старые газеты, котлы для варки клейстера, краски и кисточки. Там же стояли столы для художниц. Самая замечательная, вторая, комната была для меня настоящей пещерой Аладдина: там на расставленных вдоль стен полках сохли не только гипсовые колодки для половинок игрушек, не только еще маловыразительные склеенные половинки игрушек из папье-ма-

ше, но и, о чудо, настоящие и самые разные раскрашенные куклы, пираты, солдаты, генералы, лошадки всех размеров и мастей в разных динамических позах, Деда Морозы, Снегурочки, зайчики, медвежата и пр. и пр. Фантазия художников-скульпторов и живописцев была через край, конечно, на фоне полнейшего отсутствия тогда такого сверхмирного, так необходимого всем детям инструмента познания мира.

Именно в это время к моему отцу пришел уроженец Полтавы, впоследствии известный московский художник Михаил Рудаков. Его кисти пастельный большой портрет моего отца, где тонко схвачено папино выражение лица, тоже очень бережно хранится у нас в семье. Михаил Николаевич *был расстрелян* немцами под Харьковом как попавший в плен советский офицер, но чудом был вытаскен из-под груды тел простой сельской женщиной и выжил у нее после очень тяжелых ранений. Он пробрался к своей матери в Полтаву и уговаривал моего отца бежать вместе через линию фронта известными ему тропами. Однако моя мать буквально вцепилась в отца и не позволила ему этого сделать, пугая последствиями его исчезновения для семьи. Много позже мы узнали, что Михаил Рудаков осуществил-таки этот вожденный переход к своим, но «недремлющее око» НКВД встретило его полным недоверием, и как *изменника родины* его сослали на 10 лет в магаданский лагерь. Из лагеря он вышел несколько раньше, будучи реабилитированным совершенно случайно, – благодаря посмертной публикации дневников известного писателя Юрия Крымова. В них он очень тепло говорил о М.Н.Рудакове и восхищался проявлениями его героизма и мужества. Возвратившись из Магадана в Полтаву, Рудаков нашел собственную мать стоящей с протянутой рукой у хлебного магазина. Забрав ее, он уехал в Москву и там начал жизнь сначала: добился признания как художник (более всего иллюстратор), женился, подрастил дочку и только летом 1962 г. приехал в Полтаву с семьей и долго рассказывал моему отцу, каких несчастий и мук стоило ему исполненное решение перейти линию фронта.

Об украинском национализме на Восточной Украине никогда ничего не слышала, впрочем, может быть, это я, по молодому неразумию, не особенно его замечала и в детстве, и в школьные годы, да и позже, когда практически каждым летом приезжала на Украину. Но одна история о периоде оккупации в ироническом пересказе моего отца – неисправимого шутника – хорошо

запомнилась. К нам в дом иногда приходил «дід Мыкыта», родственник по мужу тети Иры. Это была курьезная и интересная фигура: человек сильно пожилой, но до самой глубокой старости удивительно лихо отплясывающий вприсядку гопака, необразованный, но очень уважающий образованность, читавший на редкость бессистемно и гораздо больше, чем могла переварить его бедная голова неучившегося «байстрюка». Читал он, как я теперь понимаю, пользуясь той богатейшей книжной сокровищницей, которая при не очень красивых обстоятельствах вместе с картинами, посудой и прочим попала в руки его матери – в прошлом полтавского землевладельца (сейчас уже забыла его фамилию, не исключаю, что Трощинский). Еще с довоенного времени дед любил ходить на литературно-философские беседы к моему отцу, причем приходил пешком издалека, с другого конца города, нередко удивляя отца гремучей смесью искренней любознательности и невежества, щедро приправленного «дуже щырым» (папино выражение) национализмом. Так вот от него папе приходилось в 1942–43 гг. слышать о «жовто-блакитній нэньке» Украине с ее «народным гетьманом» Петлюрой и «його дитямы», которых ждет большое будущее в союзе с Германией. Но потом, когда немцы уличили деда Мыкыту, сторожа казино, в краже какого-то сафьянного диванчика, предприимчиво пущенного дедом на сапоги, и его элементарно выпролили, тут уже все его политические пристрастия и иллюзии рассеялись как дым.

Когда положение на фронтах войны начало меняться, немцы с особым ожесточением стали устраивать облавы на жителей, пытаясь вывезти в Германию как можно больше людей трудоспособного возраста. Один раз, зайдя в небольшой магазинчик за солью, в такую облаву попала моя мама. На всю оставшуюся жизнь она сохранила горячую благодарность к незнакомой продавщице, которая пожалела ее (мама говорила об оставленных маленьких детях) и с риском для собственной жизни выпустила через подсобное помещение во двор: «З Богом, дивонька, бижи!» – сказала она.

Как помнится мне сейчас, накануне отступления немцев в наш двор въехала большая и красивая легковая машина, каких до того мы и не видавали. Из нее вышел важный немецкий офицер (позже узнала – генерал) и направился прямо... к бабушке. Он назвался Арнольдом фон Бесселем, внуком Натальи Александровны Пушкиной-Ме-

ренберг. Услышав от Коннона о бабушкиных семейно-родовых корнях, он на полчаса приехал к ней, внучке Александра Александровича Пушкина, то есть своей троюродной сестре, специально, чтобы предложить вместе с семьей покинуть Союз и выехать в его родную Германию. Выслушав это чудовищное, хотя и не лишенное добрых намерений предложение, бабушка, конечно, наотрез отказалась. Я сейчас могу только предполагать, какую бурю чувств мог вызвать в ней этот разговор – в ней, вплотную соприкоснувшейся со звериным лицом фашизма, при этом матери двух фронтовиков, от которых не было вестей и о которых она неустанно молилась.

Мои сумбурные и отрывочные воспоминания об оккупации были бы неполными, если б я не рассказала о грандиозном празднике, который состоялся в нашем доме после долгожданного освобождения Полтавы 23 сентября 1943 года. Вернулись **наши**, и ликование не было конца: в полную силу зазвучал рояль, молчавший так долго. Все: и счастливые освобожденные, и счастливые освободители – пели хором и в три голоса; вкушали, о счастье, настоящую тушенку; плакали, вспоминая пережитое и погибших, а бабушка не только пела романсы и арии своим глубоким оперным контральто, но и достала из глубоких закровов и раздаривала памятные семейные реликвии. В частности, через много лет в киевском архиве нашлась важнейшая страничка из дневника Елизаветы Гоголь о смерти «Николеньки» Гоголя, подаренная в тот день бабушкой киевскому военному журналисту. Вечером мама уложила меня и маленького Сережу спать, сказав, что все уже расходятся, а наутро я узнала, что торжество продолжалось всю ночь. Я горько рыдала и потом еще долго-долго не могла простить маме этого невинного обмана, остро завидую двум счастливицам – Кольке, моему всего-то чуть-чуть старшему брату, и дочке дяди Анто-на Галочке.

Сразу после освобождения города мой отец ушел добровольцем на фронт. Знаю, что он всегда *панически* боялся встретиться на войне с Конноном. Как человек, переживший оккупацию, папа попал солдатом-связистом фактически в полуштрафной батальон, дважды был ранен, освобождал Бессарабию, Ужгород, Прагу, форсировал с тяжелой кабельной катушкой Одер, но остался жив и закончил войну со многими наградами. Интересно, как он сам объяснял свой счастливый жребий. Во-первых, плечом и разумом своего любимого фронтового

друга (который говорил про моего отца то же самое), а также тем, что никогда и ни при каких обстоятельствах не преступал простых человеческих законов ни по отношению к своим, ни по отношению к противнику. Он вынес из многих случаев своей фронтовой жизни твердое убеждение, что за каждый некрасивый поступок на войне всегда настигает бумеранг в виде неминуемой гибели. Однако скупые отцовские рассказы о войне и его хранимые в семье письма – это уже совсем другая история.

В начале 90-х годов я и моя тетя Галя, энтомолог, предприняли, каждая по своим каналам, попытки разузнать хоть что-нибудь о судьбе Коннона, фактически спасшего нашу семью от голода, а моего отца – от угона в Германию. Его следы искали во Франкфурте-на-Майне, но, к сожалению, найти не смогли...

Большие перемены

Как только освободили Полтаву, начались большие перемены и в нашей ребячьей жизни. Во-первых, папа уходил на войну. Почти сразу же к нам стали приходиться какие-то незнакомые люди, с которыми говорили все время о фронте (как позже узнала, в эту осень формировался Второй Украинский фронт под началом маршала Конева), о непонятных мне батальонах и штабах. Это прибегали, как я теперь понимаю, оставленные в оккупации и уцелевшие папины коллеги и товарищи, такие же растерянные, как и он сам: куда теперь идти, что делать. Среди них была и уже довольно пожилая Елена Петровна с папиной кафедры, которая привела своего родственника – мужа своей младшей сестры Тamarы. Им оказался дядя Шура Святозаров, до войны работавший учителем физики в средней школе. Он был на 9 лет старше моего папы и тоже записался добровольцем, попав с ним в один и тот же батальон. Елена Петровна познакомилась с ним, и не только посоветовала держаться вместе, но и, как всегда с благодарностью помнила моя мама, наказала опекать «практичному» дяде Шу-ре «нашего очень непрактичного Владимира Акимовича».

Мне кажется теперь, что мы с Колей тоже готовили папу на войну, потому что нанизывали на суровые нитки и развешивали на чердаке сушиться большие листья табака, которые потом взрослые резали, как я тогда поняла, на махорку. Это считалось важным и нужным делом помощи фронту.

Позже мы этим занимались достаточно регулярно уже вообще для посылок, в которые вкладывали специально сшитые и вышитые кисеты, а также варежки или носки, связанные из козьей шерсти, насколько я помню, бабушкой, мамой и двумя тетями.

Никогда не забуду жуткий, хотя и не очень холодный осенний день, когда мы провожали папу на фронт. Почему-то я запомнила только маму и Колю в числе провожающих. Оба они плакали, причем 9-летний брат мой – даже порою навзрыд, а я же, шестилетняя «кукушечка-любимчик», – нет (!). И это несмотря на их реакцию, несмотря на пугающее меня большое скопление народа, несмотря на мерзкий колючий костюм какой-то самодельной вязки, который меня ужасно мучил!!! Почему я не проронила ни одной слезинки, являя собой «просто столб с распахнутыми глазами»?! Чуть ли не вся наша большая семья была неприятно поражена моей бесчувственностью. Это был какой-то ступор. Как будто окаменела в тот день и последующие, кажется, тоже. Но навсегда запомнила, как вела себя мама, даже во что была одета, а главное – как была на себя не похожа. Дома она вдруг дрожащими пальцами свернула себе папиросу. И курила, курила, стоя спиной у кафельной печки.

Но я... да, бесчувственный столб. Но почему же и сейчас, через семь десятков лет, для меня нет мелодии трагичнее марша «Прощание славянки» Агапкина? Ведь именно под эти раздирающие душу звуки тогда тронулась сборная колонна разновозрастных полтавских новобранцев. Ни разу за всю оставшуюся жизнь я не могла не вздрогнуть при первых аккордах этого марша: всегда в этот миг что-то обрывается в душе и рассыпается на осколки, а далее мелодия держит ее в таком сильном напряжении, какого я не знаю и при исполнении моцартовского реквиема. Агапкинский марш никогда не дает мне забыть, где и когда я его услышала впервые.

Несколько дней папин батальон стоял где-то рядом, под Полтавой, и мама вместе с Тamarой Петровной и женой преподавателя из пединститута Малявина (?) ездил к ним в воинскую часть провожать фронтное пополнение. Вот здесь-то и пригодилась впервые целая наволочка запасенной нами «махорки»! Когда мама вернулась, она снова курила, курила, и даже бабушка уже ничего не могла с этим поделать (и так еще 26 лет до первого мамино инсульта).

К большим переменам после освобождения Полтавы я отношу и то, что буквально с первых

дней, еще до папиного ухода на фронт, в плоть и кровь вошло ощущение, что вот-вот должны принести необыкновенно важные письма. Мы, дети, должны были быть все время начеку и внимательно прислушиваться, не ищет ли кто-то, то есть неизвестный почтальон, людей не только со знакомыми фамилиями Савельевы, Данилевские, Кононенко, Быковы, но и Шельдешова (тетя Галя, помню, учила нас с Колей своей фамилии, объясняя ее смешной легендой о казачках, продававших дешевые шали). Ждали вестей, прежде всего от дяди Саши, Марины (веря в то, что она осталась жива при бомбежке санитарного эшелона), старшей дочери бабушки неизвестной мне тети Мары и всех остальных родственников, воюющих (папин брат, брат тети Гали, мамыны двоюродные братья, братья дяди Антона Кононенко) или рассеянных по огромной стране.

Расскажу хотя бы немного из того, что помню, о всей той переписке, которая вспыхнула после освобождения Полтавы, когда мы находили близких и нас находили. Раньше всего мы радовались письму от нашей Марины, за которую неустанно молилась бабушка и которая уцелела при бомбежке их эшелона, оказывается, направлявшегося тогда в Иваново. Не задержавшись в тылу, она, старший лейтенант медицинской службы, была отправлена на Калининский фронт, который позже переименовали в Первый Прибалтийский, и там заведовала хирургическим отделением прифронтового госпиталя (потом, уже капитаном, и самим госпиталем). Марина искала своего мужа дядю Ваню, не зная, где он и что с ним, целых шесть лет! Она сразу же выслала бабушке свой офицерский аттестат, и это явилось огромным подспорьем для всей семьи, так как папа был простым солдатом и ему ничего не полагалось.

Но ярче всего я запомнила, как все плакали от радости, когда пришло письмо от дяди Саши, выжившего в блокаде Ленинграда! Бабушка как раз возвращалась из церкви, когда мы с Колей побежали навстречу ей сообщать эту весть. Как она всплеснула руками и как упала на колени прямо на дорожке возле порога соседней, воздев руки с благодарностью Богу! Дома плакали от счастья тетя Галя с мамой и Галочкой, а глупенький Сережка прыгал по кушетке и в восторге кричал нам: «Мой папа приедет! Мой папа приедет! Скоро приедет! Он привезет, он привезет!» – «Что привезет, Сереженька?» – «Он привезет мешок писем! Целый мешок!» Конечно, я не знаю, что конкретно написал в том письме дядя

Саша. Главное, мы все узнали, что он жив, жив после блокады! Потом уже стало известно, что он сначала участвовал в кровопролитных боях под Ленинградом как ополченец, вытаскивая из-под пуль раненых, а потом уже в качестве санитарного врача-офицера отвечал за эпидемиологическую службу Ленинградского фронта и боролся с дизентерией, тифом и туляремией в воинских частях. В блокаду болел тяжелой формой дистрофии, лежал в госпиталях, в том числе с туляремией. Только через много лет семья поняла, что ею он заразился не случайно: это нужно было прежде всего как единственно доступное ему тогда средство уйти от настойчивых поручений НКВД, несовместимых с его представлениями о чести, а еще было интересно для научно-исследовательских целей. Весть о живом дяде Саше дошла до нас не то в позднюю весну, не то летом, когда деревья уже давно были зелеными, как я помню, и сейчас не могу понять, почему так поздно: ведь блокаду сняли 27 января! Наверное, почта наладилась не сразу, да и он лежал в госпитале.

У меня и сейчас хранится самодельная детская книжечка, сделанная в госпитале дядей Сашей из тогдашних почтовых открыток. На одной из них написаны его рукой имена будущих читателей: *Сережику и Лидушке*, а на другой – замечательные карандашные рисунки, иллюстрации из очеловеченной жизни заячьей семьи. К сожалению, в книжке отсутствует первая страница с заголовком. Книжка начинается стихком: *На зеленый огород/ Зайки сделали поход/ И везут домой в кладовку/ И капусту, и морковь*. Когда художник иллюстрировал заячьи танцы на опушке леса, то нарисовал рояль, лихо играющую на нем зайчиху, а рядом – весело отплясывающего папашу с детишками. В бумагах же дяди Саши я в студенческом возрасте видела одну свою безграмотную открытку «*дарагому дяди Саше*» и альбом с чудесными карандашными портретами медсестер и соседей по палате, а также с автопортретом блокадного времени (который после его смерти был даже напечатан в научном сборнике: уж очень он был хорош!). Вообще-то, дядя мог бы стать прекрасным художником, но этот свой дар он использовал редко, только когда силою обстоятельств был отлучен от науки.

Возвращаясь к теме писем после освобождения Полтавы, должна обязательно сказать, что далеко не всегда, увы, они приносили в семью радость. Был комиссован из-за очень тяжелого ранения и контузии папин младший брат дядя Ко-

ля, погиб на фронте брат дяди Антона, пропал без вести тети Галин брат... Каждое письмо с фронта ждали с трепетом... А какое горькое известие пришло со вторым папиным письмом! В одном из первых боев их батальона погиб его коллега Малявин (к сожалению, фамилию сейчас помню не точно), тот самый, который приходил к нам перед уходом на фронт с женой. До сих пор стоит в памяти то чувство скорби и непонятной вины, которое переживали мои родные перед его семьей, когда необходимо было сообщить эту страшную весть.

Не могу здесь не упомянуть и о несколько более позднем письме из Парижа сразу от двух бабушкиных сестер, разыскивающих ее. Бабушка поплакала, помолилась, сходила к священнику за советом и... не ответила, побоявшись за участь своих детей. Потом, когда столкнулась еще и с длительным политическим недоверием к лицам, бывшим в оккупации (как будто это было по своей воле), убедилась, что все сделала правильно. Но должна признаться, что ее московская сестра, для меня тетя Таня, человек с другим жизненным опытом и не так обремененный семейными связями, смело откликнулась и возобновила переписку с сестрами-эмигрантками еще во время войны.

Большие перемены в нашей детской жизни отозвались и третьим моментом. После освобождения Полтавы заработали наконец государственные учреждения. Это прямым образом отразилось на нашей семье, так как прежде всего наша бабушка сняла с себя тяжелое бремя ответственности за жизнь и здоровье малышей детского дома. Чего стоила ей хотя бы одна из этих забот, например, «переброска» детишек в подвал при бомбежках! Помню, что, когда бомба разорвала наш ясень и правый угол дома, куски корней ясеня, перелетев по диагонали наш дом и сад, как потом выяснилось, выбили стекла и в нижних окнах детского дома. Тогда это все случилось так быстро, что мы никуда не успели спрятаться. Еще не выяснилось, что с тетей Ирой и Галочкой, а бабушка уже панически ринулась к детям: как малыши? что с ними? успели ли всех вывести тетя Шура и сестра-хозяйка? В одном из писем, цитируемых журналистом В.М.Русаковым, она рассказывает и другое: «Когда начинались бомбежки, я выводила и выносила своих питомцев в коридор и усаживала их на длинной скамейке. Связав концы двух одеял, держала их обеими руками, и дети сидели как бы под одним большим крылом. Жутко вспоминать...» (Расска-

зы о потомках А.С.Пушкина. М.: Советская Россия, 1987. – С.198) И вот она передала свои добровольно принятые обязанности специально образованному отделу народной «освиты» и хотя бы частично освободила себя для семьи.

Что касается нас с Колей, то где-то, видимо, с ноября мы начали ходить на «детскую работу»: Коля – в школу, а я – в детский сад. У бедного Кольки школа началась со второго класса. Хотя родители с ним занимались, но все это было еще до войны. В годы оккупации очень все изменилось, в том числе и приоритеты. Если взрослые и спохватывались, что ребенок заброшен, то занятия велись урывками, в разное неудобное для его вольницы время, а потому не встречали у мальчишки большого энтузиазма. Читать и считать его учили при этом все и никто. Боюсь, что чаще всего этим человеком оказывалась 14-летняя Галочка, которая, догадываюсь, в ту пору была не слишком большим мастером педтруда, потому что брат бурно протестовал против ее учительских поползновений. Так что начало школы было для него небольшим подарком, тем более трудным, что протекало без книг и тетрадей, без каких-либо системных навыков. Коля пошел в ближайшую, только открытую после частичного восстановления русскую школу для мальчиков (№ 4). Это было в том дворе на ул. Шевченко, где моя мама была случайно спасена от угона в Германию. Как помнится, очень скоро и она там стала работать библиотекарем (уроков французского тогда еще в школе не было). На моей памяти эта разрушенная бомбежками школа отстраивалась и расширялась лет пять.

С моей грамотностью все казалось проще: я крутилась где-то рядом, когда родители занимались с Колей, и научилась читать незаметно и очень рано, как говорила мама, еще «до войны», всего лишь присутствуя при целенаправленном обучении брата.

Если летом наше вольное житье было мало связано с книгами и протекало на улице – в саду, во дворе, в ближайших походах за травой или за козами на недалеком пастбище, то поздней осенью и зимой, конечно, все было не так. В первый год оккупации, когда был еще жив дядя Антон, а Сережка был еще совсем крошечный и все спал, спал, я, видимо, по возрасту вертелась больше всех возле нашего больного, «помогая» дяде Антону тем, что подавала то молоток, то колodку, то деревянные гвоздики для забивки в сапожные подметки. Помню, что с большим удовольствием слушала его колоритные рассказы

(разумеется, на его родном украинском языке), причем часто в ответ на мои расспросы о Галочке в ее бытность маленькой. И сейчас как будто слышу его голос: «Та вже була ще та коза: майже з двох рокив усе крутилася біля дзеркала, дзеркала (тут он смішно вертел головою і руками, в одній из которых был молоток)». Когда он мне объяснял, что такое «намысто», вдруг встал со своей обычной табуретки, потянулся к шкафчику и тут же подарил мне нитку коралловых бус, чуть меньшую, чем была у Галочки. Объяснял он мне не только некоторые слова. Это он научил меня считать на счетах, и даже помню его счастливо найденную для пятилетней девчонки мотивацию: ведь не хочу же я, чтобы обо мне говорили: «Та воно ще дурнє». Кашлял он всегда очень аккуратно, отворачиваясь и прикрываясь рукой, причем всегда сплевывал в специальную темную стеклянную баночку, на которой завинчивалась крышка и к которой не разрешал даже прикасаться.

Кажется, ко времени «больших перемен» относится один памятный эпизод, когда я лежу на хорах (там тогда стоял большой сундук с ну очень интересным домашним скарбом вроде старинных платьев, шляпок, дырявых кружев, страусиных перьев, страусового же боа, обрывков тканей, пуговиц, каких-то ниток и т.п.) и в полутьме, вдали от окон, перелистываю литературное приложение к журналу «Нива» для детей, наверное, один из случайных номеров, спущенных мною с чердака. Читаю и чихаю от накопившейся пыли. Лежать очень твердо, а читать темно, но я не могу оторваться. Не знаю, долго ли я там валялась, поскольку приключения Робинзона Крузо вряд ли тогда могли сильно заинтересовать шестилетнюю чтицу. Хотя свое тогдашнее удивление именем Пятница хорошо помню до сих пор. Судя по этому тексту, даже если я его и не прочла полностью, читала тогда уже прилично. Из специально детских книг помню толстые и малокрасочные, но сильно затисканные нашей горячей любовью сборники русских народных потешек и сказок, сказок народов мира, а также затрепаные книжки потоньше: стихи Маршака, Агнии Барто, сказки Пушкина. А красочное стилизованное издание «Русских былин», с которым я познакомилась очень рано, и сейчас хранится в моей библиотеке как память детства.

В детский сад меня определили сначала в достаточно близкий Солнечный парк, почти рядом с полуразрушенным краеведческим музеем с ужасной, уже известной читателю историей. Но потом его перевели очень далеко, на ул. Кремен-

чугскую, почти у Корпусного сада, и туда меня должны были ежедневно отводить и приводить. Утром это была мама, а вот вечером – кто может: Галочка, тетя Ира, бабушка, иногда мама или тетя Галя. Один раз про меня или забыли, или что-то случилось непредвиденное, и я больше двух часов редела как маленькая, решив, что меня бросили. Но потом прибежал дядя Витя Савельев, русский офицер, наш однофамилец, который вместе с двумя товарищами тогда жил у нас. Он не только укротил меня и разгневанную воспитательницу настоящей, впервые увиденной мной шоколадкой, которую тут же разделил пополам, но и еще тащил в темноте на закорках такую большую девицу, вспоминая собственную сибирскую дочку. Это событие из моих детсадовских времен ярко закрепилось в памяти: видимо, ходила я туда с большой неохотой и только потому, что там регулярно чем-то кормили. К сожалению, последняя причина становилась для меня все более и более осознанной.

А еще не забуду общий новогодний утренник с участием младших групп детского сада, на котором я пережила непривычно постыдный для себя конфуз. Дело в том, что в роли Снежинки, с распущенными волосами, бумажной короной на голове, в накрахмаленном платье из бинтов, сшитом бабушкой, я, как помню, почему-то читаю совершенно неуместную для этого случая пушкинскую «Песнь о вещем Олеге». Читаю, как всегда, успешно подражая папиным интонациям, и вдруг замечаю, как скучают и переговариваются между собой дети, причем некоторые из них совсем маленькие, как наш Сережик, и даже как под ватными усами зевает Дед Мороз – одна из воспитательниц. Я смутилась и тут же сбилась, со слезами убежав со сцены и, кажется, даже излечившись наконец от неумеренных папиных похвал. Но с приступом острой тоски по папе я долго редела под вешалкой, уже не понимая почему. Ревела, утираясь своими длинными волосами. До сих пор теряюсь в догадках, кто это меня надумил выбрать такой новогодний репертуар. Хотя не исключаю, что, будучи активной до глупости, придумала сама, чтобы стих был подлиннее.

О глубокой религиозности нашей бабушки я уже писала. Но только в шесть лет я наконец заметила ее робкие попытки приобщить меня к церковной жизни. До этого я, конечно, знала главные молитвы, но совсем не помню, чтобы даже в бомбежку молилась. Сейчас хорошо понимаю, что за этим стояло: до войны бабушка

очень боялась навредить детям и с внуками в отношении религии была очень осторожна. Ведь больше десяти лет она со своими детьми жила на ул. Монастырской в полуподвальной комнате, где ее пятеро детей – от 5 до 12 лет – фактически кормили и воспитывали себя сами, так как она целыми днями пропадала или на работе, или на обычных концертных подработках и приработках. Главное же, достаточно долго, пока она в отчаянии не написала письмо наркому Луначарскому (полтавчанину), детям не разрешали учиться из-за социального происхождения – «по соцпоходженню», как тогда говорилось, да и потом время от времени проходили «чистки» образовательных учреждений по этому пункту и детей исключали. В 1939 году младшей дочери Марине не разрешили ехать с мужем на Халхин-Гол, а одной из существенных причин папиного бегства из школы НКВД, куда он попал по распределению, в Полтаву, была жена-«дворянка». Бабушкин сын Саша в начале 30-х годов был выслан из Ленинграда в казахстанский лагерь, куда только чудом не отправили старшую дочь Мару (Марию), которая после предупреждения бежала в Туркмению. Там ее и застала война. В нашем семейно-родовом альбоме, подаренном моему прадеду замечательным журналистом В.А. Гиляровским, сохранилась осторожная полтавская запись 22 марта 1935 года, сделанная рукой дяди Саши, когда благодаря хлопотам очень многих людей и особенно известного историка и как раз избранного в академики полтавчанина Б.Н. Грекова, он был освобожден и возвращался после ссылки: «Предпринял неожиданное путешествие с достаточно смутными перспективами. Данилевский».

Так что опасения бабушки за судьбу детей были выстраданы всей ее жизнью.

Что касается ее религиозности, то она была очень заметной не только в атеистические советские времена, но и в общественной атмосфере самого начала века. Неслучайно уже взрослой я слышала от московской тети Тани: «*Наша Соня всегда ханжила...*» Слова эти были явно несправедливы, так как бабушка была не только глубоко и искренне верующей, но и очень прямодушной, она всегда была выше того, чтобы кривить душой. Часто в ущерб себе. В словах же тети Тани отразился не только девятилетний возрастной разрыв сестер, практически исключавший их особую душевную близость, но и разные условия их взросления. Бабушка больше общалась со своим отцом, выросшим в очень религиозной ат-

мосфере гоголевского рода, вышла замуж в 19 лет, почти сразу после выхода с первой наградой (!) из провинциального девичьего пансиона, а тетя Таня, учившаяся позже и не лучшим образом, формировалась в Москве, куда переехала разросшаяся семья Быковых. Сначала она прошла в Московском Екатерининском институте все стадии сугубо французского воспитания, затем выросла и даже впоследствии жила на любимых французских романах, всю свою долгую жизнь была активной читательницей иностранной библиотеки, расположенной рядом. Вышла замуж уже в 30-летнем возрасте и явно снизила до оперного статиста, потом – очень талантливого инженера-металлурга, который так и умер, не узнав, что он на 8 лет моложе своей жены-вольтерьянки.

Во время фашистской оккупации бабушка ходила в очень далекую церковь, которая только одна и работала в городе. Но после освобождения в Полтаве открылась Николаевская церковь, чуть правее от Келинской площади и Памятника, на пологом спуске с большого холма. Теперь она посещала службы регулярно, а по выходным и меня брала с собой. Понимание ее воспитательной стратегии в этом отношении пришло ко мне с большим опозданием, а все потому, что бабушка часто отличалась очень своеобразной и нельзя сказать что непогрешимой педагогикой.

Дело в том, что всю свою сознательную жизнь, начиная с 1904 года, она профессионально занималась с детьми ясельного возраста. У ее же собственных детей до 1918 года всегда были не только няня и неизвестная мне *мадемуазель*, но и гувернантка Анна Ильинична, которую впоследствии очень ценили и любили мои родители и которую даже помню я. У бабушкиных детей только кормилиц никогда не было, чем она, стройная до глубокой старости, очень гордилась: «Своих детей я выкормила только сама». С малышами она справлялась великолепно, умея их заинтересовать, всесторонне развивать и воспитывать навыки человеческого общения. Больше того, она сочиняла множество детских стишков и шуточных песенок, писала сценарии утренников ко всем праздникам, с большим успехом и удовольствием проводила их в жизнь и славилась в Полтаве и даже шире – на Украине как один из пионеров и организаторов дошкольной «освиты». Но в деле воспитания более старших детей у нее явно бывали досадные проколы. К примеру, почему-то до похода в церковь для причастия она запрещала мне, голодной шести-

летней девчонке, съесть что-то на завтрак, даже какую-то по тем временам скромную и жалкую еду (помню свое разочарование, когда вынуждена была отставить кусок печеной тыквы). Эти причастия в холодной и сырой, почти пустой церкви хорошо помню. При этом абсолютно не осталось в памяти даже малейших попыток бабушки объяснить преднамеренное голодание его христианским значением, да так, чтобы было понятно ребенку. Может быть, она думала, что мое чтение молитвы, кресты, поклоны и целование икон было для этого достаточным? Очень старенький батюшка, раздававший просфорки и держащий в руках Святую Чашу со сладким красным вином, разумеется, тоже молчал и ничего, увы, не говорил, даже если к причастию подходило несколько детей. И только позже, где-то в 10-12 лет, я прочитала, что значит Таинство Причащения и почему перед ним надо поститься. И другой пример: бабушка всегда сердилась и даже часто привязывала меня полотенцем к ножке рояля, увидев, что я ем зеленые (незрелые) яблоки. Так наказывала она меня, как я тогда думала, для того, чтобы, забывшись, я больно стукнулась головой о подбрюшье рояля. Но сейчас понимаю, что это было совсем не так: я ела эту любимую кислятину до Яблочного Спаса, до Преображения Господня, о чем и должна была хорошо подумать, сидя под роялем. Получалось, что бабушка отпугивала от себя непонятной строгостью, тратя свои душевные силы впустую.

Из других педагогических приемов бабушки хорошо знаю по себе и Коле, а позже Сереже и Тане (уже ее послевоенной внучке) явно не лучший метод ущемления детского самолюбия настойчивым сравнением с кем-то из его друзей или ровесников.

И вот здесь попробую воспроизвести едва ли не самое яркое воспоминание из собственной истории души, поскольку фактически до сих пор не до конца верю, что это была я, а не какая-то другая девица. Я сижу за роялем вместе с очень аккуратной и хорошенькой Витой, которая старше меня на 3 года. Это дочка тети Тони Воскобойниковой, лучшей подруги тети Иры, и бабушка учит ее началам игры на фортепиано. Вита ходит к нам каждый день и прилежно подолгу упражняется, так как пока у них нет инструмента. Она очень старается и уже играет свою басовую партию в четыре руки гораздо лучше меня, не доучившей и только осваивающей ноты. Бабушка громко считает, притопывая ногой, приучая нас к ансамблю: «И раз, и два, и три...» Время от

времени она делает перерывы, чтобы сказать страшным голосом: *«Ли-и-ида, какой ужас, фа диез, фа диез!»* Или очень строго, чтоб я правильно отрывала кисть от клавиатуры: *«Руку в крышку, в крышку!»* Или эмоционально, с досадой: *«Ах, Лида, опять забыла подложить палец!»* Наконец доходим до конца музыкальной фразы. *«Стоп! Как тебе не стыдно, Ли-и-да! Смотри, какая молодец Виточка!»* Бабушка делает хлопок в ладоши: *«Начинаем снова! И раз, и два... Да не оттуда! Опять ты, Лида, забыла, что это тональность соль мажор?»* Снова услышав фальшивую ноту, бабушка принимает ее просто за личное оскорбление, и ее контральтовый голос сразу после меццо форте бросается в высокое фортиссимо: *«Скверная девчонка! Посмотри на Виточку, она, бедная, замучилась, а какие способности! Боже, какие способности! Ты не смотри на Лиду, я слушаю тебя, Виточка, играй с чувством!»* Бабушка не замечает, что у меня от волнения дрожат губы и пальцы, заплетаясь, совсем не могут поспевать за ее ритмом и вообще, что мне еще рано играть в ансамбле. И упрямо продолжает мое мучение уже выученной партией Виты. В ушах у меня нарастает крещендо: *Виточка-Виточка-Виточка...* Я терплю, терплю, терплю и вдруг, не узнавая себя, делаю то, что давно уже у меня крутится в мозгу: хватаю из стоящей возле пюпитра вазочки какие-то старые монетки, зажмуриваюсь и... с силой запускаю горсть металла в ни в чем не повинную Виту!.. Что было дальше – полный провал памяти, как будто ее кто-то заблокировал, но хорошо помню это единожды (!) испытанное в моей жизни очень странное чувство *злобного наслаждения*, спровоцированного бабушкиной методикой. Кстати, через много-много лет я таки спросила у Виты при нашей встрече об этом эпизоде, но она, к сожалению, только расхохоталась и сказала, что не помнит «ничегошеньки». Мне тогда было то ли шесть, то ли семь лет.

Бабушка, сильно огорченная моим отнюдь не абсолютным слухом, добилась того, что я росла в комплексе неполноценности, думая про себя приблизительно так: *«Какое огромное несчастье, что у меня, бесталанной, совсем нет голоса, как у бабушки и вообще всех Быковых, мамы и всех Данилевских! Ведь я сбиваюсь даже на трехголосном каноне «Фрере Жако, фрере Жако! Дорме ву? Дорме ву?», а все дети в семье пели его с дедушками на четыре голоса! Проклятый канон! Ну и пусть, что без абсолютного слуха и голоса, зато я в папу... и зато... я еще дока-*

жу!» Правда и то, что, может быть, именно благодаря этому я хоть и ленилась, но не бросала музыку и в самые трудные для себя годы. Бабушкина скорбь о моих генах навсегда запала в душу. Хотелось ей доказать, что и без голоса, этого дара богов, у меня тоже кое-что получается, в том числе записывать иногда свои мазурки или романсы нотами, чего не умел даже прадедушка, сочинения которого она так любит играть по памяти. И все же она чуть ли не где-то к концу своей жизни призналась, что, всю жизнь только аккомпанируя, она никогда технически не владела инструментом так, как я, напоминающая ей младшую сестру-пианистку Аниту. Впрочем, можно ли было этому поверить? С годами бабушка становилась все мягче и мягче, требовательность и строгость из нее постепенно улетучивались, думается, с появлением возможности наконец-то психологически расслабиться и уже не быть ответственной за все и за всех.

Такой, какой я знала бабушку в пору моего совсем еще зеленого детства, она, конечно, была не всегда. И были, были люди, знавшие ее задолго до этого, можно сказать, «в эпоху античности», называвшие ее попросту «Соная» (иногда на французский манер Софи), помнившие ее девочкой в чепчике с остриженной наголо головой (это был признанный тогда способ выращивания густых волос) первой ученицей и, несомненно, первым голосом среди таких же пансионерок в одинаковых пелеринах и чепчиках. Это были две аккуратные и очень милые старушки, всегда с кружевными жабо, как и бабушка, которые поначалу очень мало привлекали мое детское внимание, разве только тем, что обращались к бабушке на «ты» и одна из них все приговаривала: *«Не увлекайся, Сонечка!»* Их звали Наталья Александровна и Надежда Александровна Старицкие. Только впоследствии, уже старшеклассницей, я в должной степени оценила и полюбила этих бывших классных дам моей бабушки, ставших потом основателями лучшей полтавской частной гимназии, воспитавших пятерых своих племянников (все мальчики), которые все превратились уже к моему студенческому возрасту в крупных ученых разных специальностей. Старушки приходили к нам, казалось, издали, часто с книжно-нотными подарками, и любили участвовать во всех бабушкиных затеях с детьми.

Например, когда бабушка, довольная нашим примерным поведением или какими-то достижениями в чтении, декламации или музыке, в награду усаживала всех детей за главный овальный

стол и доставала из своего собственного комода розового дерева, когда-то спасенного от разорения дедовской Олефиоровской усадьбы дворником Тихоном, старинную резную шкатулку с ключиком, полную маленьких сокровищ. Доставала шкатулку собственного детства, чтобы мы полюбовались и поиграли с различными миниатюрными игрушками очень тонкой, почти ювелирной работы. Так, например, там была крошечная серебряная книжка с застежкой, эмалевые игральные карты с подвесками, театральные бинокли, деревянная резная скорлупка с граненым прозрачным яичком, лошадка с повозкой, бочонок на колесиках, изящный утюжок с деревянной ручкой, дракончик, чайничек с крышкой, прекрасно сделанная из тонкого фарфора девочка в капоре на ночной посудине (полагаю, немецкая статуэтка) и пр. При этом бинокли действительно увеличивали, ключик открывал замочек, на повозке крутились колесики, книжка раскрывалась, и в ней в лупу можно было разглядеть иллюстрации и строчки, утюжок открывался для углей и т.д. Разве что странная девица смиренно сидела на своей посудине, и помню, что именно при Наталье Александровне очень меня конфузила. Среди всего этого детского богатства, – сейчас думаю, что частично это были довольно дорогие брелочки, – у бабушки хранились и те детские пасхальные яички, которые ныне у меня.

Наверное, горячая детская любовь к этим своеобразным бирюлькам объяснялась и тем, что их убирала надолго, а потому встреча с ними после большого перерыва была особенно радостной, к тому же она должным образом была обставлена: встречу эту сначала нужно было заслужить, потом все чинно рассаживались за общий стол в предвкушении сладостного любования этим микромиром. Как мне представляется, в этой традиции, идущей от прабабушки, что-то шло от нащокинского домика, который мог подсказать такую идею сыну поэта. И как здесь не вспомнить слова Пушкина, писавшего из Москвы своей жене по поводу миниатюрной модели московской квартиры своего друга: «Домик Нащокина доведен до совершенства – недостает только живых человечиков. Как бы Маша им радовалась! (4 мая 1836 года)». Почему-то хочется думать, что в петербургской квартире Александра Александровича на Литейном проспекте, когда жива еще была София Александровна, пушкинская внучка Маша так же умела радоваться крошечным созданиям человеческих рук. Иначе зачем ему было дарить своей трехлетней дочке

Маше, например, эмалевое яичко, сохранившееся в моем доме? Это самое простое из яичек ожерелья Марии Александровны, моей крестной, получившей его из рук отца в 1865 году. На белой эмали изображен стилизованный крошечный зайчик с посохом, несущий на спине корзину с пасхальными яичками, которых можно рассмотреть в лупу. Думаю, Софья Александровна не позволила играть дочери с таким мелким предметом и если не нанизала на шейный шнурок, то уже тогда положила его в шкатулку. Да, ту самую, которая была шкатулкой и бабушкиного детства. Не случайно и шкатулка, и Любинья всегда хранились рядом. Сейчас эта любезная моему сердцу шкатулка жива, хотя уже и не совсем содержимым, и все так же бережно хранится в Полтаве, в семье моего племянника-хирурга, как драгоценная реликвия и вещественная память уже и его детства.

Сейчас мне кажется, что год перед школой был самым долгим в моем детстве (видно, очень не любила детский сад, где еще и обязательно укладывали днем спать). Школу я ждала с большим нетерпением и восторгом. И вот начались сборы... Для школы у меня было два платья: одно темно-синее, кажется, шерстяное, еще детсадовское, в котором тетя Галя удлинила подол каким-то темным лоскутом, по которому, как и по кокетке, разбросала мелкие фиалки, набив их масляной краской (рисовала она замечательно, до сих пор храню самодельную детскую книжку «Теремок» с великолепными иллюстрациями акварелью). Сейчас удивляюсь взрыву ее художественной фантазии в отношении платья. Не знаю, как планировалось стирать это произведение искусства. Вторым моим нарядом было переделанное ею из мамино желто-бежевое вельветовое платье, которое впоследствии подвергалось ужасным опасностям со стороны чернильницы-непроливайки. Вопреки названию, коварная непроливайка у меня потом вела себя неподобающим образом, то ли в зависимости от своего настроения, то ли от количества чернил. Огромную проблему тогда представляла детская обувь. Каждый детский башмачок по ножке вырастал тогда по стоимости явно выше драгоценной хрустальной туфельки Золушки. О боже, как я мечтала о туфлях с перепонкой и носочках с каемочкой! Они мне даже снились! Почему-то туфельки мечтались обязательно красного цвета, а носочки – белого, наверное, потому, что такие видела в иллюстрациях к стихам А.Барто. Но тогда, казалось, вообще ничего такого просто не

существовало в природе. Как ни старалась вся семья приобуть мои семилетние ноги, ничего лучше старых довоенных ботинок Галочки (великоватых на два размера) приспособить не смогли. Зато их щедро намазали каким-то «благоухающим» жиром и оставили в саду под липой выветриваться этому «амбрэ».

Вместо портфеля бабушка сшила мне холщовую сумку, она же сшила мешочек, затягивающийся тесьмой, для фарфоровой «непроливайки». Вместо букваря у меня была с собой дореволюционного издания Крестьянская азбука Льва Толстого с маленькими рассказами. Но больше всего меня радовали цветные палочки для счета: их вырезал Коля из прутьев сирени. Пока я глазела рядом, он очень аккуратно облупил ветки от коры, разметил отрезки по 8 см, маленькой папиной пилкой отпилил их, а потом каждый десяток из 100 палочек тщательно и, к сожалению, от души покрасил разным цветом акварелью (благо, в нашем доме какие-то краски сохранились от кукольной мастерской). Мы с Сережкой крутились поблизости, не мешая ему и восторженно понимая исключительную важность взятого им на себя труда.

От кукольного же производства остался небольшой рулон толстой серой бумаги типа оберточной, из которой мама шила тетрадки нам с Колей, и помню, как она близоруко и очень долго расчерчивала мои тетради: одну – на клеточки и другую – на тройные горизонтальные и частые косые линейки.

В школу меня определили довольно далекую, на перекрестке улиц Пушкина и Гоголя, в полуразрушенном бомбежками симпатичном здании с колоннами. Это была женская средняя школа №10 им. Короленко, которая до войны славилась как лучшая в городе. Мама и бабушка еще выбирали, к кому из учительниц меня отдать, а после совета с Натальей Александровной Старицкой отдали в класс Анны Яковлевны Воцинской. Сейчас понимаю, что выбор был правильный, так как наш класс «а» при выходе из начальной школы количеством похвальных грамот поразил всех – 14 отличниц из более трех десятков учениц. В этом же классе я проучилась все 10 лет, и удивительно, судьба распорядилась так, что за эти годы больше половины моих одноклассниц прощались со мною рядом, сохранив верность городу и нашей школе.

Скорее всего, когда я пошла в первый класс, она только открылась после частичной реставрации. Второй этаж еще был закрыт, а правое крыло ле-

жало в развалинах, как и соседний со школой бывший театр им. Гоголя (ныне, кажется, кинотеатр) на ул. Котляревского и угловое краснокирпичное здание архива. О том, что школа после оккупации открылась впервые только через год, сужу по тому, что каждая из учениц должна была прийти со своей мебелью: стол, табуретка, стул, шкаф, одна мама даже привезла комод. Помню, что на семейном совете мне решили пожертвовать большую и прочную скамейку, которая стояла перед входом в наш дом и не пострадала во время взрыва самоварчика. На ней помещалось детей человек пять, а потому даже после того, как наша школа обзавелась более подходящей мебелью, эта скамейка еще долго стояла в коридоре.

К большому моему сожалению, моя подружка и ровесница Лида Окунева пошла в еще более дальнюю школу (№ 23), наша Галочка – в свою старую украинскую школу (№ 1), а потому новый маршрут я должна была осваивать сама.

Совершенно не помню какого-нибудь торжественного собрания, скопления народа или чего-нибудь в этом роде в связи с началом моей учебы. Самые первые воспоминания – только холодный сырой класс на первом этаже с окнами во двор (он был уже вычищен, и туда был перевезен памятник Петру Первому, на постаменте которого карабкались школьницы, чтобы помериться ростом с этим гигантом) и самой фантастической сборной мебелью. Мы с девочкой Томой сидим за первым столом, который стоял справа от учительского, недалеко от входной двери. Тома оказывается цыганкой и чуть ли не в первый же день угощает меня кусочком очень замызганного, но зато и очень вкусного сала, а я ее – незрелыми грецкими орехами, от которых тут же стали коричневыми наши руки и даже одна из фиалок на моем подоле.

Еще мне трудно забыть свое разочарование в таких чудных палочках, которые смастерил мне Коля. Очень скоро они стали источником всяческих неприятностей, так как краска обнаружила отвратительную склонность оседать на влажных по какой-либо причине руках и легко переходить на физиономию и все мое нехитрое имущество: тетради, платье, сумку, мешочек для чернилницы и т.д. Пришлось эти палочки отмывать дома золой и сушить, после чего они потеряли и цветную привлекательность, и свою изначальную подкорковую белизну. Колька же на все это смотрел с унынием и явно дул губы, решив, что я просто не сберегла его подарок. Тогда едва ли не впервые я испытала чувство *неудобства* перед

ним, но не знала, как же его утешить.

Мой первый школьный год, боюсь, больше всего запомнился мне двумя вещами. Во-первых, очень ранним вставанием, когда мой крепкий сон прерывал голос мамы: «*Лида-а-а! Лидуша-а-а! Вставай!..*» Но я еще сплю и сквозь сон слышу: «*Как, ты не хочешь в школу?*» И тут уж я без всяких проволочек вскакивала очень бодро. Однако у меня на всю жизнь врезалось в память это чрезвычайное волевое усилие. Оно понадобилось мне только в одном первом классе, поскольку все остальные 9 лет мой класс учился во вторую смену. Кроме этого усилия воли, первый класс запомнился школьными завтраками: какое-то время нам давали по квадратику черного хлеба – всегда очень свежего, натурально-ржаного, чарующе кисловатого, дырчатого хлеба, на который Анна Яковлевна раскладывала по чайной ложке сахарного песка. Тогда это было невероятной вкуснятиной, действительно лакомством! Но я съедала разве что совсем-совсем малюсенький кусочек, а остальное осторожно несла в мешочке поверх чернильницы домой, потому что при выходе с нашего двора меня и мою добычу терпеливо ждал трехлетний Сережик, иногда сидя на лавочке с дворничихой тетей Настей, и он так смешно этому завтраку радовался, что стоило и потерпеть. Впрочем, он бы радовался мне и без завтрака, потому что других малышей тогда во дворе не было, и он просто ненавидел «*эту школу*», в которой мы с Колей регулярно исчезали.

Удивительно, но мало что помню о самом учении, а потому подозреваю, что мне было скучно, пока другие девочки учились складывать буквы в слоги и слова. Но знаю, что всегда любила пересказы, а также деление текстов на абзацы и очень скоро на удивление полюбила устный счет. Даже подпрыгивала со своей вздернутой рукой, но Анна Яковлевна почему-то меня прямо не замечала. Она, наоборот, любила «придираться» к моим кривым прописям и кляксам, быстро расплывавшимся по противной волокнистой бумаге, так тщательно расчерченной моей мамой. Чистописание я ненавидела всей душой, но оно появилось в расписании, кажется, годом позже. Еще невозможно забыть, как коченели руки у нас, детей, в неотапливаемом классе и как часто наша Анна Яковлевна растирала особенно сизые руки – мои и дрожащих от холода одноклассниц. Не случайно одна из них чуть позднее по ошибке написала в своем дневнике вместо *классный руководитель* – *классный ро-*

дитель, чем насмешила весь класс, но, видимо, порадовала Анну Яковлевну, прочитавшую эту оговорку вслух.

Первое время по утрам и после школы меня сопровождала бабушка, а потом потихоньку меня стали отпускать одну. Я не сопротивлялась, так как на обратном пути любила побродить, в том числе по развалинам, где часто пленные немцы разбирали их на кирпичи и всегда рады были русским «киндерам». В развалинах тогда лежала, в частности, бывшая Маринина поликлиника на Пушкинской, как и дома на Пушкинской вокруг Березового скверика, который я проходила по диагонали, идя в школу и обратно. Сейчас мне трудно сказать, когда их восстановили, но в целом Полтава отстраивалась, по-моему, до начала 1950-х годов, и я до сих пор помню, в какой последовательности радовал глаз чуть ли не каждый возрожденный дом нашего района.

Вообще же, то чувство истории, которое я остро ощущаю в себе к старости, было заложено в детстве именно Полтавой. Я ее запомнила в постоянной динамике перемен – исторических, общественных, архитектурных.

Конечно, в том, что мне все видится во времени, огромную роль сыграла моя бабушка. Как и все бабушки, она представляла собой живую историю. При этом она просто не умела, не могла не одухотворять вокруг себя чуть ли не каждую вещь в доме. Вспоминаю ее обычные реплики или диалоги с любимым из нас. Например, с моей мамой: «*Ах, Тата, ты забыла убрать из сада апухтинское кресло! Оно же страдает под дождем и рассохнется!*» (Деревянное резное кресло, рассчитанное на очень полного человека, любил поэт Алексей Николаевич Апухтин, часто гостивший в семье прадедушки). Или разговор с двухтрехлетним Сережей: «*Иди, Сережик, сюда, поцелуй эту фотографию. Ты знаешь, кто это? Это твой дедушка, он добрый-добрый. Его тоже звали Сережик, когда он был маленький. Он бы очень любил тебя, но простудился на охоте, сильно заболел и, бедный, умер. Видишь, его как будто забыли. Поцелуй его*». Или самый обычный бытовой эпизод с моим участием: «*Ну-ка, Лида, прошу тебя, полезай на рояль. Ты еще легкая и хорошо вытрешь пыль вон там, на резной полке, на конях Клодта, они там задыхаются от пыли, а раньше в прадедушкином кабинете они, небось, дышали хорошим воздухом*».

Исторические экскурсии бабушки были настолько привычными, что мы вроде бы и не замечали их, но где-то в подкорке, видно, что-то отк-

ладывалось. Помню, была свидетельницей ее разговора с Колей: «*Не раскачивайся, Коля, пожалуйста, будь осторожнее! Видишь, как тебя боится этот гипсовый бюст. Это работа скульптора Рамазанова. Ты же хорошо знаешь, кто это изображен? Да, Гоголь, да, Николай Васильевич. Помнишь, как мы с тобой до войны ходили в театр на «Вий»? Ты всегда, Колечка, помни: ты носишь его имя – Николай. Не урони же его, как не уронил твой прадедушка. Вот за это и подарил ему художник и друг самого Гоголя такой замечательный портрет его дяди*». С нашей бабушкой нельзя было даже предсказать, за какой вещью потянется ее ассоциативная историческая память. Это мог быть не только объективно ценный предмет поклонения или искусства вроде икон (в семье знали, какой из них кто кого и когда благословлял) или художественных изделий, но и по виду обычный грибок для штопки, игольница, театральный кошелек, невзрачная шкатулка, ложка или вилка, альбомчик с вензелями, нотная тетрадь, старый том с золотым обрезом и т. д. и т. п. Так что «пособием» по истории семьи и рода она могла сделать самые заурядные предметы быта, и они тут же превращались в свидетельства духовной культуры, что ли. Видимо, поэтому к старости я мало ценю даже очень красивый и модный современный интерьер. Если вещи беспая-

мятны в собственном доме, то в нем становится скучновато и душевно неуютно.

Что же касается исторического облика Полтавы, то в детстве я больше всего радовалась возвращению на свое законное место бронзового льва на нашем Келинском памятнике после его вынужденной двухлетней разлуки с гранитным обелиском. Хорошо помню негодование Колечки, когда он узнал, что фрицы нахально оттащили любимого льва куда-то под двери своего казино, а вот наши замечательно сделали, что вернули его на место. Этому событию радовались все дети нашего двора, как-то сразу почувствовав большое облегчение: наконец-то восстановлен порядок, которого нам так не хватало. Ура! На обелиск с победой вернулась главная красота Памятника! А он у нас не простой: ведь он в честь **победы** над шведами, а это тогда так укрепляло главные надежды...



Лидия Владимировна Савельева

родилась в Подмосковье.

Детство провела в Полтаве.

Окончила филологический факультет

Ленинградского университета, аспирантуру под руководством профессора М.А. Соколовой.

50 лет проработала старшим преподавателем, доцентом, профессором, заведующей кафедрой русского языка

Карельского педагогического вуза (института, университета, академии).

Доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Карелия и РФ.

Награждена орденом Дружбы.

Автор 6 книг, более 230 публикаций в центральной («Филологические науки», «Вопросы языкознания», «Русская речь», «Русский язык в школе», «Мир русского слова» и др.), академической и региональной печати России, Сербии, Украины, Белоруссии, Израиля.

